

И. А. Горяев

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
(интервью с И.Б.Паншиным)

Многое в жизни зависит от случайностей. Сколько у каждого из нас было ситуаций, подобно сюжету из фольклора: направо пойдешь, налево..., прямо... И как много в дальнейшей судьбе зависит от нашей реакции на случай, от умения и способности делать выбор.

Человеку, с которым свел меня самый настоящий случай, в своей жизни много раз приходилось выбирать...

Было это летом 1989 г. в Норильске. Директор местного краеведческого музея любезно откликнулась на просьбу порекомендовать человека с интересной судьбой. Ничто не кольнуло, когда я переносил в записную книжку имена и телефоны людей. Сидя потом в гостиничном номере и просматривая список, размышлял: в чей же дом постучаться? Одна из фамилий как будто... Нет, незнакома. Но вроде бы читана где-то: Паншин Игорь Борисович.

Звоню, получаю приглашение.

На пороге небольшой квартирki в доме на центральной улице Норильска меня встречает поджарый мужчина со шкиперской бородкой, очень подвижный и громкий — признак ослабленного слуха. По виду — свежеиспеченный пенсионер. Потом выяснится, что ему 75, что первейшая страсть его — горные лыжи зимой и охота с рыбалкой летом. А еще прежде придется пережить чувство неловкости и досады на собственную память: ведь у Гранина читал я эту фамилию, в его "Зубре"! Да, это был тот самый Игорь Борисович Паншин, который с лета 1943 г. и до конца войны был одним из сотрудников Н.В.Тимофеева-Ресовского, возглавлявшего отделение генетики Института изучения мозга в Берлин-Бухе.

Два дня магнитофонные кассеты вбирали в себя неторопливый рассказ человека, судьба которого столь изобиловала случайностями и резкими поворотами. Впрочем, и сам характер времени был таков.

Самым первым событием в жизни Игоря Паншина было, безусловно, его рождение. Случилось это в 1914 г.

Мужская ветвь рода Паншиных ведет начало от крепостных. Его прадед, Иван Иванович, мужик башковитый и грамотный, получив свободу, сумел наладить хозяйство и даже разбогатеть. Дед — Аркадий Иванович — увлекся наукой, занялся селекцией орловских рысаков и даже имел переписку с Дарвином. Аркадий Иванович умер рано, но успел вызвать интерес к научным занятиям у сына, Бориса Аркадьевича. Гимназию тот закончил с золотой медалью и поступил учиться в Киевский университет, к знаменитому эволюционисту Севёргецу. Учение шло весьма успешно, и Бориса Аркадьевича вместе с его ближайшими товарищами И.И.Шмальгаузенем и Д.Е.Берингом должны были оставить при университете для подготовки к профессорскому званию. Товарищи стали-таки

профессорами, а вот Борис Аркадьевич помимо науки увлекся еще и политикой. Занялся революционной деятельностью, стал членом киевской группы коммунистов-анархистов. В 1907 г. попался на прокламациях и был посажен в тюрьму. Грозил ему ссылка, да вмешались в его судьбу два генерала.

Дед Бориса Паншина по материнской линии был генералом от артиллерии, а вообще-то — математиком, специалистом по баллистике, конструктором. Был он из немцев, что переселились в Россию еще при Петре I, по фамилии Шпиллер, Алексей Логинович Шпиллер.

Другой генерал — отец будущей жены, а пока еще невесты, Чернов Василий Егорович. Этот был действительным статским советником, ректором Киевского университета, основателем первого в России бактериологического института, и вообще — видным медиком. Он консультировал наследника престола, страдавшего гемофилией, за что в знак благодарности получил в подарок от Николая II портрет с дарственной надписью. Любопытен и такой факт: среди семейных реликвий Паншиных долго хранилась белая фуражка Василия Егоровича с пятнами крови Столыпина: Чернов как раз был в Киевском оперном театре, когда Богров стрелял в премьер-министра, и оказывал смертельно раненному Столыпину первую помощь.

Вот эти два генерала — Шпиллер и Чернов — и посодействовали тому, что через несколько месяцев выпустили Бориса Аркадьевича из тюрьмы. Университет закончить позволили, но уж о профессорском звании речи быть не могло. Потом уже он женился, переехал в имение тестя под Уманью, где и занялся селекцией — главным делом своей жизни. К политической деятельности больше не возвращался.

Борис Аркадьевич еще трижды будет арестован — в советское уже время, а последний раз — в 1940 г., вскоре после ареста Николая Ивановича Вавилова, с которым и Паншин был тесно связан по научной деятельности. Кстати, судили их судом Военной коллегии в один день: 11 июля 1941 г. Вавилону — смертная казнь, Паншину — 10 лет. Николаю Ивановичу казнь заменили тюрьмой, но от смерти он так и не ушел...

Если на факт своего появления на свет Божий Игорь Борисович никак не мог повлиять, то уж последующее бытие всецело зависело от него самого. Были в его жизни ситуации почище болотных топей, повороты судьбы — удивительные, как в сказке. Один такой неожиданный случай преопределил его двухлетнюю совместную работу в качестве подданного Германского рейха вместе с Тимофеевым-Ресовским. Рассказ об этом еще впереди. А пока...

Родился Игорь Борисович 11 июля 1914 г. под Уманью. В то время его отец, Борис Аркадьевич Паншин, заведовал селекционной станцией и землями при Верхнекняжеском сахарном заводе. В смутное время революции и гражданской войны семья переехала в Киев. Здесь пережили смену многих властей. От большевиков, как другие, не побежали. Напротив, по призыву советской власти Борис Аркадьевич активно включается в процесс восстановления разоренного сельского хозяйства.

Начался НЭП. На волне "ленинского внимания" к специалистам Борис Аркадьевич становится директором сортоводносеменного управления.

"Жили мы, — вспоминает Игорь Борисович, — очень хорошо. Зарплата и положение у отца были настолько весомыми, что нас "разуплотнили", вернув пятикомнатную квартиру. В доме регулярно устраивались концерты. Отец был одаренным в музыкальном отношении человеком. Одно время он даже собирался стать профессиональным музыкантом. В доме бывал часто Пантелеймон Норцов — тогда еще восходящая звезда, играл Генрих Нейгауз. Постоянный участник этих вечеров — Наталия Шпиллер, — в будущем народная артистка, солистка Большого театра. Наталя приходилась мне каким-то образом и двоюродной сестрой, и чуть ли не троюродной бабушкой — сложные там были переплетения. Так что жизнь была достаточно насыщенной, интересной..." В 1924 г. Бориса Аркадьевича направили в заграничную командировку. Цель — знакомство с организацией

сахарной промышленности, селекцией сахарной свеклы, а главным образом — выяснение вопроса относительно концессии по производству свекловичных семян. Сравнив зарубежный опыт с собственными достижениями по селекции семян, Борис Аркадьевич от концессии отказался: сами обойдемся! А вскоре после возвращения его уволили, а потом и арестовали.

"Это был 25-й год, — рассказывает Игорь Борисович. — Первый арест отца. Любопытная история! Вместе с отцом в эту командировку ездил некто Шнайдер, немец или немецкий подданный. Фирма, опыт которой они отправились изучать, очень была заинтересована в концессии. И, я полагаю, именно это стало причиной доносов Шнайдера на отца в ГПУ. Такого же мнения и его "однодельцы" — высококвалифицированные агрономы Саликов, Грюнер. Их письма хранятся у меня. Вот так начинались дела о вредительстве. А этот Шнайдер из ГПУ не вылезал. Потом он был директором Мироновской сельскохозяйственной селекционной станции. Зарплату получал в валюте. А после того, как развалил всю работу станции, спокойно себе уехал в Германию. Я потом наводил о нем справки: процветал, обласканный фашистами. А отец просидел тогда десять месяцев. По теперешним меркам это — пустяк. Протестовал, десять дней держал голодовку. Тогда была еще хоть какая-то тень законности. Дело его попало следователю Мелешкевичу — старому, опытному юристу. И он прекратил дело. Такой категории, как реабилитация, тогда не было. Вас просто выпускали на свободу, и вы шли устраиваться на работу, словно ничего и не случилось. Но — лиха беда начало! После этой отсидки отец короткое время проработал в Харькове, в Наркомземе. Потом опять вернулся в Киев, в сортоводоносное управление, руководил по существу всей селекционной работой на Украине, целой сетью семенных станций. В 30-м году последовал его второй арест. Это было время широкой облавы на "вредителей": процесс Промпартии, Кондратьев, Чайнов... На этот раз отец просидел семь месяцев и тоже вышел на свободу после недельной голодовки. И вот после этого мы переехали в Ленинград. Отец уже давно собирался уехать с Украины, полагая, что в России можно жить, а там — нет. Я вот сейчас считаю, что на Украине этот 37-й год начался значительно раньше, "посадки" начались значительно раньше. И какие были гарантии, что через год-два отца опять не арестуют? Как рассуждали? ЧК не ошибается, раз посадили — значит, что-то было. Поэтому отец решил воспользоваться давними связями с Николаем Ивановичем Вавиловым и переехать в Ленинград, в его институт.

— В чем выражались эти связи, контакты Бориса Аркадьевич с Николаем Ивановичем?

— Еще с 1925 года между ними наладилась переписка. Это, между прочим, опубликовано в двухтомнике эпистолярного наследия Вавилова. Николай Иванович живо интересовался вопросами селекции, а отец, как я уже говорил, руководил практически всей этой работой на Украине с солидной финансовой базой. Это позволяло ему оказывать Николаю Ивановичу поддержку в некоторых его начинаниях, в частности в организации экспедиций. Кроме того, они встречались на всяких съездах, где Борис Аркадьевич выступал с научными докладами. Так что контакты были тесные. И вот он перебрался в Институт растениеводства под крылышко Вавилова, куда, надо сказать, стекались все наиболее квалифицированные агрономические кадры...".

Это был 1931 год. Игорю Паншину — 16 лет, и он — весь в науке. Надо сказать, что в школе Игорь не учился. Родители опасались его туда отдавать. И вот почему. Одна из сестер матери еще в то время, когда Киев был в руках добровольческой армии, вышла замуж за белого офицера. Потом вместе с мужем она оказалась в Крыму, а позже — за границей. Другая сестра была замужем за Евстафием Гершкевичем-Трехимовским, профессором Киевского университета, известным химиком-органиком. В 1925 г. с тремя детьми (всей семьей) они ухитрились тайно уйти в Польшу. Все эти обстоятельства были известны подраставшему Игорю, и, чтобы не искушать судьбу (а вдруг в школе с языка

соскочит?) родные решили обучать его дома. Занимались этим главным образом старшие брат и сестра Игоря.

...Кто в детстве не собирал жучков-паучков? Вот и Игорь Паншин начал с коллекционирования бабочек. В какой-то момент отец, Борис Аркадьевич, решил, что пора кончать с увлеченностью и переходить к серьезным занятиям: повел отдавать сына в обучение к академику Шмальгаузену...

"У нас в семье это был Ванечка Шмальгаузен, университетский товарищ отца. Приводит он меня к нему с таким разговором, что, мол, не возьмет ли он к себе в лабораторию сына. А Иван Иванович сказал так, что заниматься экспериментальной эмбриологией мне будет и трудно, и скучно; что для биолога раньше всего нужно познакомиться с систематикой, а потом уж заниматься конкретными вещами. И посоветовал отдать в обучение к другому товарищу отца — Дмитрию Евстафьевичу Берингу. Был он в то время директором Днепровской биологической станции. Там я и начал работать, с 28-го года, т.е. с четырнадцати лет".

В то время замыслился ДнепроГЭС. На днепровских порогах работала экспедиция, которая изучала вопрос, как повлияет строительство станции на ихтиофауну. Был в экспедиции и Игорь Паншин. В 16 лет он написал, а затем опубликовал свою первую научную работу "О ихтиофауне Днепра от Днепропетровска до Никополя". Эта работа послужила ему роль рекомендации при поступлении в Ленинградский университет. А перед этим он еще сдал экстерном экзамены за среднюю школу.

"Когда мы переехали в Ленинград, к Вавилову, тут я уже занялся генетикой. В 1931 году я поступил в университет и одновременно работал в вавиловском институте, в лаборатории генетики. Эта лаборатория была основана Юрием Александровичем Филиппченко — крупнейшим генетиком, собственно, основателем этой науки у нас. Видел я его только один раз, еще в Киеве, в 1930 году, во время съезда зоологов, анатомов и гистологов. Тогда же я впервые увидел знаменитого Кольцова, у которого потом работал, Любищева, Книповича. Слушал их доклады. Я ведь считался уже ученым, — смеется Игорь Борисович. — Был привлечен к техническим вопросам организации работы съезда. Например, удостоверение участника съезда Ю.А.Филиппченко выдавал я. И там же, в Киеве, я впервые увидел И.И.Презента, слушал его. Какое впечатление? Впечатление опасного проходимца: способный, великолепно подвешен язык, весьма находчив и нагл. Конечно, всего, о чем он говорил, я оценить не мог. Но помню рассуждения о нем старших. А потом я встретился с Презентом в университете, где он заведовал кабинетом методологии и биологии, слушал его лекции по диалектике природы. В какой-то степени он излагал даже дарвинизм, и неплохо. Но одновременно поносил буржуазную евгенику...

Но вернемся к лаборатории генетики...

Сюда в 1933 году из Германии приехал Меллер. Причем до приезда он что-то в течение года работал у Тимофеева-Ресовского. О Николае Владимировиче он отзывался восторженно, а ведь Меллер вообще тогда считался первой величиной в генетике, ему принадлежит открытие искусственного получения мутации рентгеновскими лучами. А уж более подробно всю эту тематику на высоком биофизическом уровне начал разрабатывать Тимофеев-Ресовский, именно когда у него был Меллер. Вот откуда идет это самое подключение Тимофеева-Ресовского к урановой проблеме, которое ему никак не могут простить!

Обычно спрашивают: кто ваш учитель? Так вот, я всегда отвечаю, что в генетике мой учитель — Меллер. Как-то я сделал одну небольшую работу. Публиковать ее не собирался, но рассказал о ней Меллеру. Это было описание интересного случая двойной мутации хромосомы. Когда Меллер услышал мой рассказ, то буквально потребовал, чтобы я сделал эту публикацию. Почему? Да потому, что вот в Германии работает Штерн, а в Соединенных Штатах — Демерец, и все — по сходной тематике. И не дай тебе Бог упустить приоритет! Работу я опубликовал, и между прочим, если бы я занялся этой проблемой и

дальше, то, может быть, обошел бы американского генетика Люэса с его открытием строения гена. Но... Много чего в жизни, в науке осталось несделанным, незавершенным...

— Игорь Борисович, вспомните, пожалуйста, обстановку того времени, людей, которые работали в вавиловском институте...

— Институт был замечательный, и кадры там были великолепные. Жили мы в квартире, расположенной в самом здании Института растениеводства, на углу Мойки и Невского, так что я имел счастливую возможность знать и наблюдать многих выдающихся ученых. Это и сам Н.И.Вавилов, и его заместитель Жуковский, и В.Е.Писарев.

О каком-то серьезном знакомстве с Вавиловым говорить, конечно, не приходится. Встречи были довольно-таки минутные. Только один раз я был у него дома, на квартире: отец послал за какой-то книжкой или, наоборот, отнести ее Николаю Ивановичу. Больше приходилось сталкиваться на работе. Впечатление он производил самое приятное. Очень быстрый, всегда в хорошем расположении духа, без конца что-то рассказывал, обязательно вокруг него народ собирался. И всегда нас поругивал за то, что мы делаем мало открытий: "Делайте больше открытий!" — требовал Н.И.Вавилов.

Смутное время началось в 34-35-м годах, с появлением в институте Лысенко и его сближением с Презентом. К Вавилову зачастили всякого рода комиссии, ревизии. Николай Иванович очень выдержанный был человек, но это, как я слышал от отца, действовало на него удручающе. Тучи над институтом сгущались. В 1935-м уехал в Москву и перешел на работу в Институт свекловичного полеводства отец. Тогда же ушел Виктор Евграфович Писарев. Ему тоже в свое время, как и отцу, досталось "посидеть". Для таких людей оставаться в опальном институте было небезопасно. К тому же они своим присутствием усложняли положение самого Вавилова, потому что эта кампания против него и против генетики разворачивалась уже вовсю.

— Почему она была развязана, в чем был смысл?

Да ведь все это значительно раньше начало развязываться! Было у нас такое общество — биологов-марксистов. Чем могло оно заниматься во времена всеобщей идеологической бдительности? Блюло идейную чистоту научных исследований. Известно, что Энгельс интересовался вопросами диалектики природы, говорил, что нужно обязательно разрабатывать эту область. Но сам Энгельс только-только приступил, работу не закончил, то, что написал, к печати не подписывал. По существу это были лишь его наброски к вопросам, которые он намеревался разрабатывать. Поэтому диалектику природы Энгельса и публиковать-то было нельзя, и уж во всяком случае не рассматривать ее как законченный труд. А у нас цитаты из него выхватывались по потребности. Надергают и говорят: вот, мол, Энгельс против борьбы за существование, против естественного отбора. И так далее, и так далее... Для этих самых биологов-марксистов, псевдодиалектиков — хлеб насущный! И вообще, надо сказать, ламаркистская постановка вопроса о наследовании приобретенных признаков, она гораздо более соответствует обывательскому сознанию. Тезис генетики, сатирически-резкий, "против генов не поспрешь: коль родился идиотом — идиотом и помрешь", это, видите ли, нехорошо. Как же, это концепция "голубой крови"! С этой стороны генетика, конечно, была уязвима очень. А коль скоро имелся уже давным-давно социал-дарвинизм и его стал брать на вооружение Гитлер, то не так уж трудно было и соответствующую философскую базу подвести под генетику. И доподводились в конце концов!

Помню первую дискуссию 36-года. Выступали Вавилов, Меллер, Презент и Кольцов. Уже тогда Презент изо всех сил набросился на Вавилова. Дескать, громадный институт, громадные штаты, а ничего, понимаете, не делают, практических результатов не дают. А вот Лысенко обещает в два счета все проблемы решить, на ходу подметки рвать! Это импонировало...

Тогда же, в 36-м, я закончил Ленинградский университет. Рассчитывал, что меня возьмет к себе в Институт генетики Вавилов, где тогда и Меллер работал. А я-то — ученик Меллера, занимался по его тематике; он бы, конечно, меня взял. И я пошел по этому поводу к Николаю Ивановичу. А он мне говорит: "Ситуация в институте такова, что мы вас взять к себе не можем". Вот таким было уже положение летом 1936 года, что меня, человека с безупречными анкетными данными, они взять не могли. А какие данные? Отец сидел, брат сидит. Брата звали Кирилл; он закончил физтех, делал дипломную работу у Сергея Ивановича Вавилова, у него же и работал. Арестовали его по явно сфабрикованному делу. Сейчас известно, как НКВД само стряпало всевозможные кружки, организации. Всякие там контрики, колеблющиеся, куда им деваться? А в организации! Это называлось профилактикой: раскрывать, проникать в "намерения" и сажать. Брат три года провел в Воркуте, пока его совершенно неожиданно не освободили. По благу, можно сказать. Суть в том, что вместе с ним был посажен сын академика Параикошица. А этот Параикошиц в свое время прятал то ли Дзержинского, то ли Менжинского — в общем, связи сохранились. Брат умер в блокадном Ленинграде от туберкулеза — следствие лагерной простуды.

И вот, значит, к Николаю Ивановичу Вавилову я не попал и уехал устраиваться на работу в Москву, в Институт экспериментальной биологии — знаменитый кольцовский институт. Кольцов хотел взять меня в аспирантуру. У меня уже к этому времени были опубликованы. Кольцов устроил мне экзамены, прежде всего по иностранным языкам. У меня до сих пор эта бумажка хранится, где сказано, что перевод с немецкого и английского — свободный, а с французского — со словарем. В общем бумаги мои были отправлены в Наркомздрав — тогда в его ведении находился институт. И тут на меня случился донос. Некто Сапожников, был он у нас еще в университете руководителем студенческого политкружка, узнал о моих намерениях относительно аспирантуры и написал заявление, что я-де человек аполитичный и плохо относился к политучебе. Этого было достаточно, чтобы остаться без аспирантуры. Но Кольцов меня все-таки принял на работу, простым лаборантом. И только через полтора года перевел уже в научные сотрудники. Потом мне все же разрешили защищать диссертацию. Снова сдал все необходимые экзамены, тем для защиты было не менее трех, любую можно выбирать, материала хватало. Но тут началась война...".

Земной путь каждого человека непредсказуем. Но все это тысячекратно усиливается во времена потрясений, когда случайности начинают сыпаться как из рога изобилия. Закономерен был путь юного Игоря Паншина в генетику. Конечно, в чем-то и случаен, но случайность эта глобального порядка: семья, окружение, склонности. Но вот закономерно ли то, что финал этой судьбы пришелся на заполярный Норильск? Или здесь опять же случайность?

Рассказ Игоря Борисовича о военных годах можно разделить на две части: до Берлина и Берлин. Его повествование о себе было долгим, с подробностями. Где-то я перескажу его в сжатом виде, а где-то будет звучать прямая речь.

...К исходу первого месяца войны И.Б.Паншин записался в 7-ю Бауманскую дивизию народного ополчения. При ней же закончил школу младших командиров и в начале октября в районе Ельни оказался на фронте. Только-только оттремели здесь ожесточенные бои, притормозившие немецкое наступление на Москву. Переформировки, переброски — последовательность населенных пунктов смешалась в памяти: Дорогобуж, Вязьма, бесчисленные деревушки. По-настоящему повоевать Паншину так и не довелось. Часть была рассеяна, управление не функционировало, связи практически никакой. Где что происходит — мало понятно. Этакое напряженное затишье перед готовящимся немецким натиском. Сплошного фронта нет. В лесах какие-то разрозненные группы красноармейцев, стремящиеся выйти к своим. А кругом немцы. Не то, чтобы окружение, а как-то так, словно они везде.

Одну такую группу вел к своим на восток младший командир Паншин. Ночью в октябре, переходя ручей, попали под немецкий огонь. Все-таки переправились с боем, потом проскочили несколько немецких застав. К утру набрали на какую-то заброшенную хибарку. Справа и слева — по деревеньке. Что-то с километр до той и другой. Момент в судьбе Игоря Борисовича поворотный...

"...Беру с собой одного бойца. А я мокрый насквозь, зуб на зуб не попадает, и потом — ужасающий понос. Уже несколько дней маялся животом. И эта моя "животная" болезнь в конце концов кончилась историческими событиями. Подходим, значит, к этой хибарке. Бойца посылаю к деревне, посмотреть, что там делается, а сам решаю переодеться — в вешмешке-то у меня белье сухое. И одновременно, провожу очередную операцию по очистке кишечника, значит.

Да, начал переодеваться и вдруг слышу шаги. Тут же смотрю: суют в окошко гранату неизвестного мне образца. И голос: "Рус, сдавайся!" А я в ответ: "Не стреляйте, я говорю по-немецки!"

Ситуация: стою голый, рядом винтовка лежит со штыком. Открывается дверь, я стою за ней, меня не видно. Заходит немец с автоматом. У меня верный шанс проткнуть его штыком, однако же я этого не делаю. Представьте, что получилось бы после того, как я бы его проткнул и в чем мать родила, с винтовкой и штыком наперевес вылетел бы на тех других, что стояли на улице? С ума бы посходили от ужаса и разбежались? Не знаю... Стреляться? Времени на это уже не было, нужно было еще штык для этого снять. Но, по правде, эти соображения меня тогда не занимали, я бы не стал стреляться, в принципе против этого. Это всегда успеется.

В общем немцы узнали, что я говорю по-немецки, а я узнал новое для себя немецкое слово: "понос". Это они сразу заметили, что он кровавый — тоже. И очень обрадовались такому интересному случаю взятия в плен. И отнеслись ко мне самым любезным образом: привели в часть и немедленно начали лечить. Надо сказать, что здесь я сразу как-то четко определил для себя линию поведения: максимум лояльности, максимум доверия с их стороны, побольше узнать, чтобы при случае с пользой употребить эти знания. Каким образом? Это уж как получится, как случай представится...

Часть, в которую я попал, была тыловая, входила в состав 7-й танковой дивизии. Мне сразу предложили остаться у них в качестве переводчика. Вообще пленных, знающих язык, как правило, оставляли при частях. Во всяком случае, наших переводчиков я встречал довольно много.

Чем приходилось заниматься? Да в основном проблемами снабжения. С подвозом продовольствия у них в это время складывалась уже довольно напряженная ситуация. Сами обеспечивали себя за счет населения: ездили по деревням, собирали картошку, скот, который остался, и так далее. Даже справки какие-то давали, в которые, конечно, никто не верил. В общем, "пособничал действиям", которые не менее успешно были бы проделаны и без моего участия.

Спустя какое-то время произошел случай, весьма для меня благоприятный. Как-то еду в автобусе с немцами, а один из офицеров вертит приемник и натывается на Москву. И что же я слышу! Поет Натка Шпиллер, Наталья Дмитриевна Шпиллер, певица Большого театра, которая приходится мне я уже рассказывал кем. Кстати, мать ее тоже очень известная была певица, даже, пожалуй, крупнее, чем дочь. В детстве, изучая немецкий, мы старались дома больше говорить на языке. И, естественно, знали, что Шпиллер — фамилия немецкая, что приставка "фон" свидетельствует о дворянском происхождении, и потому иногда дразнили Натку баронессой.

И вот слышу Натку по радио и говорю: "Это поет моя тетка". — "Как, твоя тетка? Кто такая?" — "Баронесса фон Шпиллер", — отвечаю. — "Что, баронесса? В Советском Союзе — баронесса?" — "Да, говорю, — только у нас вслух об этом нельзябылоговорить".

Начался разговор; становится ясно, откуда я так хорошо говорю по-немецки. Мало этого, выходит, в моих жилах течет еще и дворянская немецкая кровь...

Потом, это уже в Вязьме, меня вызывал к себе начальник штаба части, майор, не помню фамилии, но тоже с приставкой "фон" — "голубых", значит, кровей. Долго беседовал со мной. Я ему рассказал о своем прадедушке, кто он был. Что моя бабушка Александра Алексеевна часто жила в Мюнхене. В общем поговорил. И с тех пор пошел слух, что я не кто-нибудь, а немецкого дворянского происхождения и вообще не очень-то от мира сего, занимаюсь науками. Стало быть, всякие там гнусные предложения делать, вовлекать в недостойные дела не следует. Правда, этого и не было, но все равно оказалось кстати...

Пробыл я в этой части до лета 1942 года, когда 7-ю танковую дивизию, изрядно побитую, решили вроде расформировать. А незадолго до этого произошел еще один замечательный случай — встреча с унтер-офицером Ракемем. Случайно я с ним разговорился; немцы всегда интересовались, кто да что. Он горными лыжами увлекался, поговорили о горнолыжном спорте. Я ему — о генетике, он — о себе, о том, что по специальности архитектор, из Мюнхена. И, между прочим, проектировал дачу для Бехштейна. А это довольно известный немецкий генетик. Спрашиваю: "А фамилию такую, Тимофеев-Ресовский, не слышали?" — Да, — говорит, — слышал". — "А где он?" — "А он сейчас, кажется, по-прежнему в Берлине".

Так совершенно неожиданно я получил информацию о Николае Владимировиче. Сразу же созрело решение написать ему. Мне позволили это сделать. Письмо, конечно, проходило через цензуру; поэтому и тональность его была соответствующая: что Россия, дескать, войну проигрывает, заниматься наукой здесь будет совершенно невозможно, и нельзя ли мне работать в Германии. Вот такое письмо ушло в Берлин. Адрес я указал приблизительный: Берлин-Бух, институт, такому-то.

Через некоторое время вызывают меня в СД, в контрразведку. "Писали письмо такому-то?" — "Писал". "Так вот, вы совсем не Игорь, а Иван Паншин. Тимофеев-Ресовский знает Ивана Паншина, а не Игоря". "Нет, — говорю, — он перепутал". В общем, окончился этот разговор ничем. А себе я уяснил, что Николаю Владимировичу, видимо, не очень-то понравился антипатриотичный тон моего письма. Кто я — Иван или Игорь, он вообще знать не мог. Но главное — хоть какая-то информация есть. Поэтому, когда я второй раз написал ему, то уже совершенно в другом духе..."

Возможность написать второе письмо у Игоря Борисовича появилась только через год. Танковую дивизию, при которой он находился, расформировали. От предложения влосовцев записаться в добровольческую армию он отказался, решив, что оставаться при немцах в его положении гораздо больше резона. Некоторое время в команде военнопленных работал по ремонту дорог. Потом, после разговора с генералом, командующим тылом 9-й немецкой армии (благодаря все тем же слухам о необычном фон-военнопленном захотелось генералу лично встретиться), Паншина вновь приписали к штабу. В 1943 г. (это уже в Орле было) он познакомился с девушкой, работавшей в немецком госпитале. Звали ее Александра Райнхард. Немецкая фамилия досталась ей от отца — австрийского военнопленного еще времен первой мировой. Он умер, когда Александре было всего несколько недель от роду. Молодые люди решили пожениться, и это их желание не только не встретило возражений со стороны германского армейского командования, но даже было поддержано самым неожиданным и сентиментальным образом: считавшимся полунемцами, им предложили принять германское подданство. Они отправились в Лодзь. Здесь, в лагере для пересыльных, окончательно решился их вопрос о гражданством и женитьбой. Из Лодзи же И.Б.Паншин обращается к Н.В.Тимофееву-Ресовскому вторично.

"...В этом письме уже ничего похожего на "ура, да здравствует Германия!" не было. Даже намек. А писал я ему в том духе, что знаю его от таких-то и таких-то людей, объяснял свое положение, а в конце просил взять к себе на работу. Спустя время пришел ответ: Тимофеев-Ресовский вызывал для знакомства и переговоров.

В Берлин-Бух я приехал рано утром. Нашел институт, Николая Владимировича еще не было. Секретарша проводила в его кабинет. Смотрю, что за диво-див-

ное?! По стенам висят портреты русских ученых: Ломоносов, Мечников, Павлов, Вавилов, еще кто-то... А в простенке — по-русски известное изречение Ломоносова насчет того, что на немецком языке хорошо с врагами говорить, на итальянском — с друзьями, а на русском ... и так далее.

Конечно, сразу ясно стало, куда я попал и каково должно быть мое поведение. Короче говоря, буквально за пять минут мы обо всем с ним договорились...".

Прежде чем И.Б.Паншин продолжит свой рассказ, следует, видимо, сделать небольшую ремарку. Побудительным мотивом к многочасовой моей беседе с Игорем Борисовичем послужило именно и прежде всего желание узнать что-то дополнительное о личности замечательного ученого, каковым, безусловно, является Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. И понятно почему: его пребывание и работа в нацистской Германии по сей день не дают покоя приверженцам черно-белого восприятия жизни. Было и еще остается немало желающих видеть в Николае Владимировиче не только великого ученого, но и презренного пособника фашистов. Документальных доказательств для такого взгляда нет никаких. Зато существуют многочисленные свидетельства людей, в том числе и крупных ученых, опровергающих эти домыслы. Среди них и тех, кто лично был знаком с Николаем Владимировичем, работал вместе с ним.

Закономерен вопрос: Насколько можно доверять рассказу о Тимофееве-Ресовском Паншину — изменнику родины, сдавшемся врагу с оружием в руках? "Зеку", получившему за свое предательство законные 10 лет Норильлага? Можно ли верить такому человеку?

Ох, как все просто в черно-белом мире! Нет, не зря я пытался рассказать как можно подробнее о судьбе самого Игоря Борисовича. Вникая в жизненную эпопею Паншина, я поразился пронзившей вдруг меня догадке: передо мной человек, цивилизованно (не благоговейно, а именно цивилизованно, может даже с изрядным прагматизмом) относящийся к жизни как величайшей ценности. Не жизнь во имя жизни, а жизнь во имя смысла. Смысла! Зачем всего лишь единожды является человек на этот свет? Чтобы пасть жертвой исторических обстоятельств, выпавших на его жизненный отрезок? Жертвой мракобесия, тоталитарных страстей, преступной политики? Прийти и уйти? Не реализовав себя делом рук, ума? Допускаю, что кому-то сама постановка вопросов может показаться кошунственной. Однако не есть ли появление подобных вопросов знак осознания человеком высшего смысла пребывания своего на земле? СОЗИДАНИЕ!

Можно было бы проткнуть одного непутевого немца штыком и остаться навечно в памяти других кроваво-поносным идиотом-фанатиком. А можно было и по-другому: шлепнуть генерала, но наверняка загубить тем самым полсотни, а то и сотню таких же, как сам, плененных товарищей — была и такая возможность.

Паншин сделал свой выбор и получил за него "свое": статью 58-1Б (Измена Родине). Этот факт он не отрицал в 45-м, не отрицает и сейчас. Но других деяний, кроме сдачи в плен, за ним не числится. И у меня нет оснований не верить ему. Да и сам Игорь Борисович неоднократно повторял, что после того, как имя его и фамилия неоднократно упомянуты Д.Граниным в "Зубре", могли бы найтись свидетели его каких-то иных преступлений. Не нашлось. Смысл его жизни был прагматически чист: не навредить другим, из всякой ситуации извлечь максимум разумного, полезного. Дождаться случая... Ну, а теперь — о Тимофееве-Ресовском.

"Игорь Борисович, вы два года проработали у Николая Владимировича. Вы с ним часто общались или не очень?

— Более тесного общения и представить невозможно. Рабочие места мое и моей жены были рядом с кабинетом Тимофеева-Ресовского. С нами же в комнате и Елена Александровна — супруга Николая Владимировича. Минимум дважды в неделю, а то и чаще ходили к ним домой в гости. Надо сказать, людей у него всегда было очень много, самых разных: кроме немецких ученых полно иностранцев, полный интернационал. И русские — из числа эмигрантов, французы — братья Пейру, грек, даже китаец один был.

— Как бы Вы могли охарактеризовать Тимофеева-Ресовского? Как человека, как ученого?

— То, как описал его Д.Гранин, довольно верно. Добавить что-либо новое очень трудно. Безусловно, что это был очень умный и очень мужественный человек. Вместе с тем ему была свойственна наша русская бесшабашность. Но не дурная, а основанная на сознании своей силы, уверенности.

— А можно сказать, например, так, что для Тимофеева-Ресовского наука была превыше всего? Превыше борьбы?

— Этого нельзя сказать, я бы так не сказал. Я думаю, превыше всего была для него Россия-матушка. Противопоставлять науку родине — это для такого человека, как Николай Владимирович, невозможно.

— Но тем не менее он ведь ради науки оставался так долго вдали от родины?

— В какой-то мере так. В какой-то... По сути он попал в безвыходное положение, в ловушку. Нельзя ему было возвращаться в Советский Союз: это гибель. Это, кстати, прекрасно понимали наши генетики, с которыми мне приходилось разговаривать: Дубинин, Прокофьева-Бельговская, другие. "А почему, — задавались они вопросом. — Николай Владимирович не уехал из Германии в Америку, например?" А ведь не понимают, что значит эмигрировать в Америку. Его посылали в Германию. И не вернуться в Советский Союз, а эмигрировать в Америку — это значит раз и навсегда порвать с родиной. То же и Вавилов: надо было ему возвращаться из своих зарубежных командировок?

— Наверно, нет. Но возвращался...

— Правильно, возвращался. Но почему? Потому что каждый из нас надеялся на то, что все эти беззакония, дикости — все это временно, преходяще, что такое не может продолжаться бесконечно. Почему оставался в Германии и тянул время Тимофеев-Ресовский? Да по той же самой причине! Кто же мог предположить, что у немецкого народа, с богатейшей культурой, на родине Маркса и Энгельса возможен такой кошмар, как фашизм! Одинаковое совершенно положение. Значит, ежели человек не уверен твердо в том, что ему нужно делать, тогда необходимо придерживаться кутузовской тактики: в сомнении воздерживайся, и все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Два кутузовских изречения из "Войны и мира" вынес, очень они мне понравились. Там, у Толстого, это по-французски написано. Ну, а если по-русски, по-простому, то — не зная броду, не суйся в воду.

Предпринимать что-то нужно только тогда, когда ты абсолютно уверен. Риск — не благородное дело. Оно таким становится, во-первых, только во имя благородной, достойной цели и, во-вторых, когда он оправдан. Можно ли считать жизнь и поведение Тимофеева-Ресовского рискованными? Если да, то в таком случае его риск был оправданным. Между прочим, и тем, что Советский Союз вовремя получил атомную бомбу. Насколько было ускорено ее создание? На месяц, на полгода или на несколько минут — это сказать невозможно. Но, видимо, все же ускорило, иначе не получил бы Риль звания Героя Соцтруда и две Государственные премии...".

Физик Николай Васильевич Риль (Николаус Риль), немец, выходец из России, близкий друг Тимофеева-Ресовского, был в годы войны одним из руководителей немецкого "уранового проекта". Дружба этих двух людей была гораздо старше самого проекта, однако впоследствии знакомство Николая Владимировича с Рилем, а также с Ромпе, Ганом, другими физиками-ядерщиками, работавшими в Берлин Далеме, послужило поводом для обвинений Тимофеева-Ресовского в том, что он якобы был подключен к атомной проблеме.

"Как биогенетик Николай Владимирович совершенно не был причастен к этой работе. Хотя был, безусловно, и в курсе того, что такие исследования ведутся и на какой стадии находится реализация проекта. И ведь что любопытно: какого-то огромного секрета из этих работ не делалось. Я имею в виду дружеские встречи в доме Тимофеева-Ресовского. Немецкие физики, бывавшие у него, довольно

открыто обсуждали перспективу атомной бомбы, не очень-то веря в реальность дела, которым занимались, т.е. именно в реальность бомбы. Ясно было всем как Божий день, что от теории до ее реализации дистанция огромного размера. Начать с того, что у Германии не было промышленного ускорителя. Был один слабенький, опытный, который перед самой войной заработал и на котором только и удалось, что подтвердить теорию, т.е. возможность цепной реакции. Но для того, чтобы всерьез, практически заниматься ядерным оружием, физики должны были пойти к Гитлеру и сказать: "Без этого оружия мы войну не выиграем". И при этом добавить, что атомное оружие требует громадных средств. А ведь вся гитлеровская пропаганда строилась на том, что Великая Германия вот-вот победит! В этих условиях идти и требовать огромные средства на не совсем достоверную вещь значило быть обвиненным в неверии фюреру. Поэтому работы велись без особой веры в конечный успех и объяснялись примерно таким образом: раз американцы этим делом тоже занимаются (а что занимаются — ясно: коль уничтожили завод тяжелой воды в Норвегии — значит, интересуются атомной проблемой), то и нам нельзя отставать, и мы должны теоретически эту тему разрабатывать. Такова примерно была их логика.

При этом должен заметить, что Николай Владимирович прекрасно знал, что в СССР есть выдающиеся физики, которые вполне могут справиться с этой самой проблемой. И что ускоритель у нас есть — тоже знал. Проблема атомная действительно колоссальной сложности, а помощь таких людей, как Риль или Отто Ган, была бы нелишней. Я вот говорил о риске. Был ли риск в решении Тимофеева-Ресовского вернуться после войны в Советский Союз? Безусловно. Этот вопрос мы обсуждали очень часто и подолгу. Помню фразу Николая Владимировича после одного такого разговора: "Ну, может, ты и прав, Борисыч. Но ежели ты ошибаешься, то имей в виду, что висеть мы будем с тобой рядом".

— Прав в чем, Игорь Борисович?

— В том, что следует ориентироваться на Советский Союз.

— А каковы были Ваши аргументы?

— Никаких, голое желание вернуться на родину. Аргумент такой, что мы русские и драпать в Америку или еще там куда не следует. Ну, еще тот аргумент, что матушке-России бомба может пригодиться. Риск был. Меня и Риль спрашивал, как его примут в Советском Союзе. "Вас, — говорю ему, — примут наилучшим образом". Когда накануне прихода Красной Армии в Бух там появился Николаус Риль, то в руках у него был здоровенный портфель. Были ли там документы — этого я точно не знаю. Но у хорошего ученого все в голове, все можно повторить...".

Николай Васильевич Риль стал Героем Социалистического Труда. Значит, повторил ...

"Игорь Борисович! Расскажите, чем конкретно занимался Тимофеев-Ресовский?"

— Ну, прежде я хочу сказать, что уже при первой же нашей встрече Николай Владимирович рассказал мне о своих отношениях с атомной проблемой, почему, собственно говоря, он держится в лабораториях и является заведующим. Военное ведомство секретит все, что так или иначе было связано с радиоактивностью. И вот под видом военной тематики он здесь и осуществляет свою исследовательскую деятельность. Ту, которую он ведет с самого своего приезда в Германию: изучение ионизирующего, мутагенного действия рентгеновских лучей. Эту тему он начал разрабатывать еще в Советском Союзе по предложению Кольцова. У нас этот эффект был обнаружен Надсоном и Филипповым. А в Германии его открыл в опытах на дрозофилах Меллер. Вот, собственно, направление исследовательской деятельности Тимофеева-Ресовского — действие ионизирующих излучений. И никоим образом это не может быть связано ни с атомной бомбой, ни с защитой от нее. У нас ведь как: услышат слово "нейтрон", ах, это связано с атомной бомбой! У всех глаза от страха, понимаете ли, на лоб лезут! А этими самыми нейтронами Тимофеев-Ресовский начал заниматься задолго до войны, и о его

опытах делал доклады Н.П.Дубинин как о классических опытах, подтверждающих всю теорию действия ионизирующих излучений на хромосомный аппарат наследственности.

Почему у Тимофеева-Ресовского было много друзей физиков? А все благодаря общему интересу к биофизическим проблемам. Ведь современная молекулярная биология, молекулярная генетика немислимы без тончайших опытов с применением радиоактивных изотопов. Риль, например, очень интересовался биологией. Вот и получился такой великолепный синтез генетика и биолога Тимофеева-Ресовского с физиками Рилем, Ромпе...

Сфера интересов Тимофеева-Ресовского — радиобиология в широком смысле. А душой радиобиологии является радиационная генетика. Ею он и занимался. "Урановый проект" здесь был просто, как говорится, притянут за волосы. Вроде того, что занимались ненужным делом — облучением крыс. Почему ненужным? Да потому, что крыс-то есть нельзя. А кого можно? Можно кроликов. Придумали тематику по их облучению, а потом их благополучно поедали ввиду абсолютной безвредности. Отчитывались, как за использованный на опыты материал. То есть самое обыкновенное очковтирательство. Ну, а поскольку крыс все-таки есть нельзя, то некоторые опыты, иногда для отмашки, все же делались. Кто занимался с крысами? Полуеврей Кач. Почему ему надо было этим заниматься? А потому, что Кача надо было спасти. Кстати, работа у Тимофеева-Ресовского помогла спастись многим таким несчастным, как Вельт, Гельшоу, Хегнер, Фельг...

Кач, значит, облучал, а моя жена резала бедным крысам хвосты, чтобы из спинного мозга взять мазок. Таким вот образом и Сашка была подключена к "урановой проблеме".

— Какова была репутация Тимофеева-Ресовского как ученого?

— Очень высокая, и не только среди немецких ученых, но и вообще в западном мире. Везде пользовался громадной популярностью и симпатией. Порядочность, честность — эти его качества не подвергались ни малейшему сомнению. Его по праву считали основателем современной биофизики и молекулярной биологии. Николай Владимирович отличался необыкновенной образованностью и широтой интересов. Эта чисто русская особенность настолько ярко была выражена в Тимофееве-Ресовском, что людей буквально притягивало к нему как магнитом. Его авторитет в научных кругах был очень большой. И этим, кстати, объясняется то, что гитлеровский режим не рискнул предпринять какие-то санкции в отношении Тимофеева-Ресовского после начала войны. Все-таки, несмотря на фашизм, отношение немцев к науке было уважительным.

— Не отразился на его положении и история с арестом сына...

— Что значит не отразилась! Я бы так сказал: при всем этом немецком уважении к науке положение у Николая Владимировича не очень было устойчивое. Он, конечно, висел на ниточке. Через какое-то время после начала моей работы у него (Фома был арестован за несколько месяцев до моего приезда) я получил вызов в соответствующее учреждение. И какой-то там фюрер вел со мной долгий разговор о Тимофееве-Ресовском в связи с Фомой. Мои ответы сводились, примерно, к следующему: "Ах, это такое несчастье, молодой еще человек натворил, сам не ведая чего. Как жаль, что я приехал так поздно, я бы не допустил таких действий в отношении Великой Германии". И так далее, и тому подобное — все, мол, произошло по недомыслию. "Что же касается самого Тимофеева-Ресовского, — врал я этому фюреру, — так он же чуть ли не царских кровей, дворянин и вообще белогвардейский офицер. Так что подозревать его в какой-то симпатии к коммунизму никак невозможно!" Вот в таком плане был разговор. Ясно, что они интересовались Тимофеевым-Ресовским, наблюдали за ним. Поводов было и без того предостаточно. Я уже говорил о том, кто у него работал: военнопленный француз Шарль Пейру, полно русских, немцы с еврейской кровью, ну и так далее.

Что же касается Фомы, то я бы действительно вмешался в это дело и был бы против всех этих листовок, потому что в той жизни и при тех условиях это было

малозффективное занятие, т.е. огромная степень риска при минимальной пользе. Николай Владимирович тяжело переживал случившееся, пытался хлопотать за сына, ему даже устроили с этой целью встречу с Кальтенбруннером. Можно ли ставить ему это в вину, когда сыну грозит смерть? Конечно, нет. Вот говорят: яблочко от яблони недалеко падает. Поступок Фомы говорит о его мировоззрении, о воспитании, полученном дома. А я бы переиначил эту поговорку еще и таким образом, что и яблоня от яблочка недалеко растет.

— В связи с этим я хотел бы Вас спросить, Игорь Борисович, о политических убеждениях Тимофеева-Ресовского. Можно ли считать его человеком аполитичным?

— Аполитичным? Знаете, политикой он не занимался, не хотел влезать в эти дела. Но вот такая вещь: все-таки в гражданскую войну он служил в Красной Армии. И в узловые, решающие моменты он умел принимать правильные решения. Да, он находился в фашистской Германии, но все-таки вернулся на родину. И вернулся не один, а со всем штатом своих работников и, кроме того, с этими самыми атомными технологиями. Были ли колебания, сомнения? Да, я об этом уже говорил. Но ведь после всех этих колебаний и сомнений он оказался не где-то, а в Советском Союзе. Объяснять это политическими убеждениями было бы, очевидно, неверно. Это, скорее, гражданская позиция человека, патриота своей родины. А рисковал он действительно очень многим. Как-то Елена Александровна (супруга Николая Владимировича) спросила меня: "Вы считаете, что ежели бы не Вы, то мы бы не вернулись в Советский Союз?" Не хочу преувеличивать свою роль в этой истории. Я ей ответил так: "Вы бы без меня не вернулись, а я бы без вас не вернулся. А вот вместе мы вернулись". Но, повторяю, возвращаться надо было с чем-то, не с пустыми руками. Так это все и задумывалось.

— Расскажите, пожалуйста, как был встречен вами приход Красной Армии?

— Наступил момент, когда немецкие войска уже оставили Бух, а наши еще не вошли. Тут у меня возникла идея вооружиться, поскольку в одном сарайчике я обнаружил целый склад оружия, приготовленного немцами для их, так сказать, народного ополчения. Предложил Тимофееву-Ресовскому: давайте вооружимся на всякий случай. Он против. Тут чуть не разругались мы с ним. А ругаться с ним довольно трудно, потому что, он начинает сразу орать и прочее. В общем решили, что вооружаться не следует. У нас вообще не любят никакой организации. А, кроме того, наши солдаты могут просто перестрелять всех, увидев людей с оружием.

Встреча с советскими войсками произошла, по-моему, 23 апреля. Я и многие другие сотрудники института были в доме Тимофеева-Ресовского. Утром раздалась стрельба. Выглянул в окно, смотрю: цепь наших солдат движется. Я — к ним с самодельным белым флагом. Все в общем довольно мирно произошло. Были, конечно, вопросы: кто да что. Но я очень так туманно что-то про спецзадание отвечаю.

Одной из первых наших акций была отправка телеграммы Сталину. Как только вошли наши части, я разыскал старшего офицера (сейчас не помню, полковник или подполковник) и сообщил ему, что необходимо отправить телеграмму в адрес Сталина. Содержание такое, что нами для работы в Советском Союзе оставлены там-то и там-то такой вот институт со штатом работников и оборудованием, имеющих очень большое значение. Точно такую же телеграмму мы отправили еще и на следующий, кажется, день.

— От чьего имени были телеграммы?

— Их подписывали Тимофеев-Ресовский и я.

— А как Вы попали в особый отдел?

— Видите, все документы свои я спрятал, и до поры до времени все обходилось, не до нас было — все-таки обстановка еще боевая. Но ждаты, когда обратят внимание, — тоже опасно. Был же случай, когда какой-то выпивший офицер размахивал перед Николаем Владимировичем пистолетом: контра, мол, белый офицер и прочее. Тогда я уговорил какого-то майора, дал он нам солдата и втроем

— я, Николай Владимирович и Ромпе — мы отправились разыскивать СМЕРШ. Нашли. Ромпе и Тимофеева-Ресовского после разговора отпустили, а меня задержали. И началось следствие. Николая Владимировича я встретил только через 20 лет, в Обнинске...".

Эпопея И.Б.Паншина, вероятно, привела в немалое удивление следователей военной контрразведки. По предварительной договоренности жена извлекла из тайника и передала следствию документы Игоря Борисовича. Был в числе их и советский паспорт. Ополченцам 41-го года, поскольку они не являлись бойцами кадровой армии, оставляли гражданские документы, и Паншин свой паспорт умудрился сохранить. Подследственный честно изложил всю историю своего пленения, однако рассуждения о высшем смысле и целесообразности такого его поведения, равносильного выполнению спецзадания государственной важности, отклика не нашли. Как не помогли и призывы к элементарной логике: если вполне очевидный (по мнению следствия) военный преступник не спасается бегством, а, наоборот, разыскивает соответствующие органы, то это ведь что-то да значит!?

Впрочем, следствие шло достаточно спокойно, объективно, насколько это было возможно. Паншину выражали понимание, сочувствие, успокаивали, что трибунал непременно учтет все обстоятельства дела. Однако на суде все было сфокусировано на факте измены с оружием в руках. Подсудимый не отрицал наличия состава преступления, а вникать в психологические его мотивы, разбираться в деталях последующих поступков Паншина трибунал не стал. Приговор — 10 лет за измену родине. А то, что родина получила выдающегося ученого с мировым именем, талантливых немецких физиков-ядерщиков — это членам трибунала было слишком сложно для понимания. Да и генетика в стране была в загоне...

Из Германии "военного преступника" Паншина повезли в Союз. В пересылочной тюрьме, в Орше, набирался этап в Норильск. Одни говорили, что там очень страшно; другие — наоборот: что там хорошо, зеки ходят чуть ли не без конвоя и вообще очень много всякого интеллигентного, образованного люда. Игорь Борисович решил, что для него это подходящее место.

Транспорт с зеками прибыл в Дудинку в сентябре. На Таймыре в это время уже всю зиму...

Почему Вы выбрали Норильск, Игорь Борисович?

— Мне понравилось романтическое место у черта на куличках. И потом я не знал, как дальше сложится моя жизнь. Я считал, что мне нужно куда-нибудь подальше...".

Уже 45 лет живет в Норильске И.Б.Паншин. Совершенно очарован этим краем...

Перипетии его нахождения в лагере — это особый и долгий рассказ. 8 лет и три месяца с учетом всевозможных зачетов, что называется — от звонка до звонка.

Первые сведения о Тимофееве-Ресовском он узнал из письма жены. Она еще примерно год оставалась в Германии. Потом переехала в Москву, установила связь с матерью и сестрой Паншина. Через них он и был более-менее в курсе происходящего. О многом о чем Игорь Борисович догадывался и сам...

"Как-то в газетах я прочитал фамилию Риль. Так я узнал, что Николай Васильевич Риль находится у нас, и сразу мог понять, в связи с чем. Потом была чисто случайная встреча с одним физиком, Ткачевым. Он мне рассказал, что работал на Урале, как раз с Рилем. И что Тимофеев-Ресовский там, и Кач, и Циммер, и жена Циммера, короче — весь коллектив сотрудников Николая Владимировича, за небольшим исключением, работал вместе с ним на Урале. Значит, понимал я, Риль был занят непосредственно созданием бомбы, а Николай Владимирович по прежней своей тематике работал — радиационной генетике. В одном из писем жена меня спрашивала, почему я не захотел работать с Тимофеевым-Ресовским. Действительно, был запрос на меня от Завенягина. Я отказался. Почему? Во-первых, я не знал точно, что это исходит от Тимофеева-Ресовского. Но даже если бы и был уверен в этом, то имелась и вторая причина для отказа.

Не хотелось мне появляться там в виде зека. В Берлине для немцев я был полузагадочной фигурой: разведчик — не разведчик, но что-то такое мои немецкие коллеги про себя предполагали. Так что здесь сыграло свою роль самолюбие. А наша встреча с Николаем Владимировичем произошла только в 1965 году. Время, так сказать, радикального поворота в генетических делах, когда вместе с Хрущевым отодвинули наконец-то в сторону и Лысенко. Примерно за год до нашей встречи Тимофеев-Ресовский переехал с Урала в Обнинск. Здесь по инициативе И.В.Курчатова был создан Институт медицинской радиологии. Собственно, в значительной степени он был создан именно для Николая Владимировича. Попутно замечу здесь, что, не случись преждевременной смерти Курчатова, не только дела Тимофеева-Ресовского пошли бы успешнее, но и я бы, скорее всего, вернулся в генетику.

В общем в 1965 г. я приехал в Обнинск, а оттуда вместе с Николаем Владимировичем и Еленой Александровной мы отправились на Можайское море. Там была организована конференция по генетике и биофизике. Да, а еще раньше я ему направил свою теоретическую работу по генетике бактериофага. Почему я этим решил заняться? А от нечего делать: сломал ногу на слаломе, а тут кое-какие материалы получались, вот и решил заняться теоретизированием. После конференции на Можайском море мы вернулись в Обнинск, там я и сделал доклад по своей работе. Николай Владимирович требовал, чтобы я переходил в Институт медицинской радиологии. Уже была и договоренность на этот счет с директором института. Но я все не решался. Ведь сразу возникал вопрос о моем статусе. Степени ученой у меня не было, хотя материалов на диссертацию было предостаточно. Обойтись без защиты, добиваться присвоения, так сказать, по сумме работ? Но в аттестационной комиссии еще хватало лысенковцев. Не решился в общем.

Прожил я тогда в Обнинске у Николая Владимировича недели две. Тогда же я поставил перед ним вопрос о том, что нужно написать письмо в ЦК. Не только насчет реабилитации, но и чтобы расставить все точки над "и" в вопросе его заслуг и в генетике, и в атомной проблеме, к которой он, конечно же, причастен, не непосредственно, разумеется, а через своего друга Рилия. А он мне так отвечал: "Знаешь, Борисыч, ты пиши, а я, дескать, полностью реабилитирован, мне это не нужно". В этих вещах он был очень наивным человеком. Никакой реабилитации он не получал, а было у него снятие судимости. Была у него статья та же, что и у меня, — измена родине. А судимость с нас сняли по указу; всем снимали, кто был осужден на срок до 10 лет. Так он реабилитации и не получил...

Потом, после 1965 г., мы с ним много раз встречались. И всякий раз, когда я к нему приезжал, Николай Владимирович ругал меня: когда же наконец ты бросишь этот свой Норильск, этих своих гусей, хариусов, лыжи свои чертовы и вернешься в науку? И как нехорошо, что у нас с тобой до сих пор нет ни одной коллективной работы!

Так это дело и тянулось...

— Игорь Борисович, Вы не жалеете об упущенном?

— Что не вернулся тогда, в 65-м, в науку? Иногда немножко и жалею. Тогда для меня это было вопросом самолюбия. Если бы мы написали тогда с Николаем Владимировичем в ЦК и если бы получили тот ответ, который был мне нужен, я бы, конечно, вернулся в генетику. Но быть в науке на положении отсидевшего преступника я не мог.

— Значит, Вы считаете, что незаслуженно получили Норильский лагерь? (Это был мой последний вопрос в нашем многочасовом разговоре. Было видно, как непросто дался моему собеседнику этот подробный рассказ о своей жизни. Явно чувствовалась усталость. Но этот последний вопрос всколыхнул Паншина, и он заговорил опять о том поворотном в его судьбе, роковом (?) дне 10 октября 1941 года).

— Заслуженно ли? Вопрос сложный, потому что формально я вполне очевидный военный преступник. Мало того, что я добровольно сдался в плен, я же еще и принял вражеское подданство, был причастен к "урановому проекту". Букет полный!

А если по существу... Да, много было случайного, стихийного в событиях моей военной жизни. Однако определенная линия поведения у меня была, и я считаю, что, следуя ей, я сделал максимум того, что мог сделать во время Великой Отечественной войны. Если бы я бросился тогда со штыком наперевес, то равным счетом ничего бы не достиг. То есть счет был бы один к одному. Я, конечно, не рассчитывал тогда, что вот проберусь в Берлин, проникну в "урановый проект" и все такое прочее. Все это было в определенной степени случайно. Но я был внутренне готов к подобным случайностям. Не случись Берлина, было бы что-то другое, были у меня и другие возможности сосчитаться с врагом. Я о них говорил на следствии, рассказывал о том, что предпринимал, что делал, чтобы сосчитаться. А мне говорит следователь: "Знаешь, лучше не трепись, доказать ты этого не можешь, придумал ты это или нет — неизвестно. Почему, говорит, не сбежал из плена?"

В самом деле, почему? Расскажу Вам об одной ситуации.

Было это под Смоленском, в каком-то старом имении. Расположился там штаб генерала Кульмана. Какой-то писарь из штаба приносит как-то мне наш автомат. Есть, говорит, среди ваших военнопленных оружейный мастер. Пусть посмотрит, что-то барахлит. Ладно. Беру, иду. Действительно, есть такой мастер, молдаванин, помню. Починил. Дал я ему бутылку, возвращаюсь. В это время появляется генерал Кульман. И захотелось ему со мной прогуляться, побеседовать — это случалось уже раньше. И мы отправляемся с ним гулять. На плече у меня ППШ с полным диском патронов, свежо отремонтированный. Его это никак не смущает, что я с оружием; напротив — вроде как охрана. Отошли так километра полтора. Вот она, возможность побега: очередь в спину, документы генераловы забирают — и в лес. К тому же вооружен.

Довольно неприятная акция, но она возможна. Я даже в какой-то момент навел на генерала автомат, а потом передумал. Ну, ухлопал бы я этого генерала. А дошел бы до своих — еще неизвестно. Результат какой? Немцы бы расстреляли полсотни, а то и сотню военнопленных, а я, если бы и перешел через линию фронта, ничего бы не доказал. Посчитали бы немецким шпионом и ...

Я считаю, что сделал в войне максимум того, что мог".